

Юрий Серебрянский

Алтыншаш

Повесть

1

Генка выбежала на крыльцо в одном платье. Посмотреть, как лошадь приведут из конюшни и та станет думать, зачем ее подняли так рано, а когда она думает, смотрит бешеным глазом, испуганным. Это очень смешно. Как только дедушка начнет крепить оглобли, лошадь сразу все поймет и успокоится. Генка успела. Лошадь стоит у самого крыльца и фыркает росой, наверное, она гораздо больше любит есть сухую траву. Зимой только сухая трава. Странная зимняя лошадь. Генка поскользнулась на влажном деревянном полу, чуть не упала. Посмотрев на бешеный глаз, вернулась в дом, чтобы успеть одеться.

— Геня, — позвал дедушка с улицы.

Он помог ей забраться в телегу. Просто взял и поднял ее в телегу. Никто уже этого не делал, кроме дедушки. Как маленькую, хотя она давно уже была большая и не только помогала, а и работала вовсю по дому. Другие были маленькими. В деревне необычайно короткое детство. Для мальчиков оно заканчивается первой зарубленной курицей, для девочек — заботами по дому, после которых играть нет сил. Но с дедушкой можно быть маленькой. Телега едет по самому краю дороги, дедушка старается не попадать в колею, где жидкая грязь, чтобы не застрять. Но телега то и дело пытается сползти в колею. Лошадь тянет бодро. Утром нет слепней, они налетают ближе к полудню, когда становится жарко. Высокие стебли жесткой травы хлещут телегу по бокам, а выющиеся стараются уцепиться, словно щупальца зеленых чудовищ, но Генка сидит посередине и слышит только этот звук, и еще мучает приторный запах сока стеблей. Грустные старые бани, похожие на сгорбленные дома-старички, за которыми огороды спускаются в лог, и там уже начало леса. Реки отсюда еще не видно. Она за полем.

Дед руку никак не выпускает из своей. Генка елозит ладошкой, разминая глину его руки, как будто это ямка в обрыве берега. Там, где играли: прокапываешь немного, потом глубже и расширяешь. И за каждым разом к речке спускаешься смачивать пальцы. Наконец Генка выдергивает ладонь и бросается обратно к опушке леса.

Юрий Серебрянский — прозаик, поэт. Родился в 1975 году в Алма-Ате. Окончил Казахский государственный национальный университет, получил диплом химика-эколога. Постоянный автор «ДН». Дважды — за повести «Destination» («ДН», 2010, № 8) и «Пражаки» («ДН», 2014, № 9) — лауреат «Русской премии» в жанре «Малая проза». Живет в Казахстане. Предыдущая публикация в «ДН» — «Казахстанские сказки» (2016, № 8).

* Алтыншаш — в переводе с казахского языка «золотые волосы», характерное для казахов составное женское имя.

Оборачиваясь, видит спину дедовой рубашки, и блестящую от утреннего солнца поверхность реки внизу, и лес, деревья на той стороне. В лицо бьет щедрый запах травы и собственные волосы, в шесть лет нестриженные.

Дед не обернулся. Знает, что ничего не произойдет, и знает все, что произойдет. Вот она сидет играть на опушке, вот она идет по тропинке, слушая, как с треском падают где-то в кронах ветки. Вот она осторожно нюхает муравейник. Вот и тропа выходит мимо бань и кривого забора к деревне. Дом с крыльцом и палисадником, в котором растет вишня и все время жужжат пчелы, хотя цветов там нет. Вот она молотит босиком по ступеням, заходит на кухню и намазывает мед на кусок белого хлеба. Садится за стол на самый край стула, неудобно, но ей удобно. Наклоняет голову и золотистые волосы липнут к меду.

2

Состав останавливали часто, но будет ли остановка долгой или короткой, понять невозможно. Никто не сообщает. На второй день пути пассажиры начинают прикидывать, стоит ли попробовать успеть развести огонь и что-нибудь приготовить или выстирать пеленки?

Вагон, в котором едет семья Генки, большой, деревянный, но для людей мало приспособленный. Когда только сели в него, папа подсадил Генку и Романа, Генкиного младшего брата, на второй ярус нар. Воздух заполнен запахом коровника. Высоко. «Зато через эту щель в стенке можно будет и наружу выглянуть и воздухом подышать», — подумала Генка.

В вагоне полутьма. Сколько ехать?

Если станция — стоять долго. Если на путях — никто сказать не возьмется. На долгой остановке можно успеть сварить полевку — похлебку. Генке похлебка и даже кильбаска не важны совсем, на долгих остановках она пробегает расстояние в пять вагонов за две минуты, ловко огибая солдат в защитного цвета форме и людей, выпрыгнувших из вагонов на насыпь. Добежав до вагона, в котором едут дедушка вместе с коровой Малиной, снаружи точно такого же, она заглядывает внутрь, туда, где невыносимо воняет скотиной, и дедушка говорит ей ласково и тихо: «Геня». Дед стал совсем на себя не похож. Дома он командовал всем, чем можно было командовать. Папой и мамой, курами, коровой, соседями и поросенком, который прижал уши и щурись от своей глупости. Однажды, когда поросенок бушевал, оставшись один, и мешал Генке спать, дед пошел и наорал на него, но не просто наорал, он рассказал поросенку подробности того, что стало с его маткой, свиньей. Вот таким был дед. Раньше.

«Раз корову разрешили взять, значит насовсем нас гонят». Мама ругалась на дедушку за то, что он сказал это. Плакала. Она почему-то поняла, что дедушка теперь другой и можно кричать на него, и она на него кричала.

Иногда дедушка протягивает ладонь в щель между досок загородки вагона, и Генка трогает его ладонь и потом смотрит на морду Малины, но ее черных глаз в темноте вагона не разглядеть.

Потом Генка, развернувшись, бежит по щебню, или пыли, или траве обратно, к своему вагону, под взглядами военных, которые обращают внимание, но молчат. Постоять там на свежем воздухе. Запах сразу же стал не таким, как дома, хотя часто поезд стоит на разъездах в лесу, так похожем на тот, домашний.

На десятый день пути, когда Генка прибежала к дедушке, состав стоял на какой-то станции с кирпичным домом в форме маленького дворца. У крыльца, в саду, аккуратно, в два ряда росли деревья, покрашенные так, как будто это были школьницы в белых гетрах, торжественно встречавшие поезда. Генка увидела печальные глаза Малины сквозь щели и поняла, что дедушка переселился в нее, чтобы не мучиться голодом и вонью. Корова и дедушка стали теперь единственным целым.

Когда все слезали с вагонов на насыпь, чтобы постоять вместе с поездом, а папа говорил — «лес какой-то, станции нет, короткая остановка» и протягивал руки для того, чтобы снять ее с нар, Генка самостоятельно спрыгивала на пол вагона, потом ловко, уже при помощи папы, спускалась на насыпь и заглядывала под вагон. По той стороне идут ноги солдат — патрулей. Их сапоги. Грязные огромные голенища. Иногда они останавливаются и курят. Хочется забраться под вагон, как она делала на долгих стоянках, туда, где никто не видит и можно представить себе тишину. Только здесь тихо и не страшно. Потому что шум означает тревогу и страх. Даже когда люди в вагоне молчат, тишины там нет никакой. В вагоне едет не только Генкина семья. Людей много, и Генка многих знает. Часто представляет себе тишину. Скучет по той, домашней. На стене комнаты остались тикать часы.

3

Иногда мама залезает к ним на верхние нары, и приходится пускать ее к щели-окну, потому что маму укачивает в поезде и ей становится дурно. Тогда Генка ложится с ней спину к спине и считает дырки в крыше вагона, сквозь которые падают лучи света, стараясь не думать о запахе. Пахнет уже не коровником. Так пахнет, когда много людей долго едут в закрытом вагоне и щели слишком маленькие, чтобы проветривать помещение. «Банка номер двадцать два. Ужасная вонь», — думает Генка, мысленно складывая этот запах в одну из банок в своей голове. Думает о том, как пахнут эти лучи в щелях. Неужели только эта танцующая пыль?

Дело в том, что все запахи в мире уже существуют, бывает, что они смешиваются и появляется какой-то новый, но он хиленький, неестественный. Запахи должны оставаться в тех местах, которым они принадлежат. Все увиденное и услышанное Генка сохраняет в голове в виде запахов. Так проще всего, и можно вспомнить любую картинку в голове, вспомнив запах, и невозможно ничего потерять. Яблоко могут отобрать, а запах яблока никто не отберет. Баночки с запахами располагаются в ее голове в большом помещении с открытым окном и колышущейся на ветру белой занавеской. Здесь ничем не пахнет. Можно взять с полочки любой из запахов, закрыть глаза и почувствовать, что угодно. В любой из баночек есть какой угодно запах. Это секрет. Генка и сама не знает, что где лежит. Но у этой точно номер двадцать два. Не открывать банку!

Закрыть глаза и сделать так, что возникнет любимый запах подушки утром. Или пирожков на столе. Или холодной воды в ведре, принесенной из колодца. Запах, как будто краска, которой Генка моментально рисует картину в голове, и если бы были под рукой настоящие краски, она нарисовала бы все и по-настоящему.

4

У тети Терезы и дяди Бронислава зимой родился малыш, мальчик. Дом у них был с синим забором. Мальчика называли Эдуардом, и он родился через полтора года после Романа, младшего брата Гени. Эдик больше всех не хотел ехать в этом поезде. Он плакал часто и ночью. Он вообще не различал день и ночь. Хотел вернуться в дом с синим забором. И еще он хотел ехать в чистых пеленках, и ему не нравились этот вагон и много незнакомых людей вокруг. У дяди Бронислава слишком времени уходит на то, чтобы набрать воды в ведро в вагоне-цистерне на станции, очередь большая. Он все время не успевал ее принести и уж тем более согреть на костре. Пеленки оставались грязными до следующей станции. Но в этот раз успел, и пока Генка бегала проводить вагон-коровник, дядя Бронислав развел огонь и поставил ведро сразу с пеленками. Генке доверили держать на руках Эдика. Он молчал и наблюдал за всем довольно равнодушно и мирно. Тетя Тереза стала стирать пеленки прямо в ведре над костром. Генка почувствовала на плечах руки папы, подхватившего ее, отдала Эдика дяде, и все

оказались в вагоне и тотчас же покатились. Солдат крикнул что-то тете Терезе, она начала вытаскивать пеленки, словно большую разварившуюся серую лапшу, но солдат тянул ее в поезд, и она упала, опрокинув ведро и уронив все пеленки, поднялась и побежала, зажав в руках только одну, с которой капала на землю вода все время, пока тетя Тереза догоняла поезд.

Следующей ночью Эдик подслушал, как она тихо плачет, и решил дальше не ехать. Он решил насовсем остаться на опушке рощи, где росли кусты и закрывали его от поездов. Вот застучали стыки вагонов и снова качнуло, а Генка смотрит и пытается запомнить это место. Мелькнул столб, еще один, еще, быстрее, и остался в голове тонкий и кислый запах раскопанной сырой земли.

5

С самого утра поезд едет по этому открытому пространству. Боковой ветер продувает вагон, иногда налетая вихрем, свистящим в щелях. Время от времени по сторонам попадаются белые грязноватые пятна, издалека похожие на ледяные поля. Мосты через какие-то мелкие речушки, и столбы, бесконечные и одинаковые. Всё, кроме этих столбов, уже поменялось вокруг. Тайком отодвинув мамину свернутую кофту, закрывавшую на ночь щель — окно, Генка, от нечего делать, считает столбы. Они напоминают великанов с одной, выставленной в сторону ногой или танцоров, ожидающих музыку. Иногда дорога делает такой изгиб, что становится видно то хвост, то передние вагоны. На остановках, когда можно слезть с вагона, люди оглядываются вокруг. Незнакомая трава в степи пахнет дикостью и тревогой, какая бывает перед самым заходом солнца, в сгущающихся сумерках. В темноте степь оживает. Крики птиц и треск цикад как будто на другом языке. Костер, разведененный у полотна в самом конце поезда солдатами, днем угадывается по мареву, а по мере того, как сгущается темнота, становится похож на петушиный хвост. Наступает момент, когда костер и закат одинаково бордовые, и непонятно, где солнце — там, у этих солдат, или оно уходит. Генка стоит на насыпи рядом с мамой, и ей страшно за солнце, которое могут потушить. Только бы поезд не тронулся именно сейчас. Она сжимает мамину руку изо всех сил. Наверное, мама чувствует то же самое. Поезд отъезжает глубокой ночью, а к обеду следующего дня уже стали появляться небольшие лесочки то с одной, то с другой стороны. Они были похожи на пролетающие облака, если представить, что степь — небо. Можно смотреть так на них целый день, но поезд вдруг останавливается. Ветра нет. Маленькая станция. Покосившийся забор. Несколько строений. Солдаты дают сигнал всем выходить из вагонов. Пробрасывают настилы для того, чтобы спустить скотину. Поезд стоит полукругом, он длинный, и видно, как из вагонов выпрыгивают люди, и одни подают, а другие принимают вещи, связки с вещами, какие-то крынки, детскую коляску с белыми колесиками, мятый чемодан. Папа говорит, что всё. Приехали. Вокруг шум голосов. Какая-то женщина зовет Франца. Дети держатся взрослых. «Почему у нас так мало вещей», — Генка разглядывает соседей, чей мальчик оставлен держаться за ручку большого чемодана.

Как и все остальные, родители собирают все вещи в кучу недалеко от барака.

— Есть у твоего отца закурить? — какой-то мужчина подошел.

— Сейчас посмотрю, — отвечает папа и развязывает дедушкин вещевой мешок.

На горизонте над степью миражи. Здесь очень сухая жара. Мама боится змей и подняла ноги от земли, забравшись на вязанки вещей, лежащие на пыльной земле. На небе ни облака. Оно очень высокое и прозрачное. Ночевать придется прямо здесь. На станции. Под небом. Утром обещают всех отвезти в новые поселки. Нужно будет расселяться в дома. Так сказали. Кто сказал?

Котелок со шкварками так и стоял, заваленный вещами в вагоне. Или мама специально его забыла? Вкус и запах дома. Вечером сильно холодают, и пищат комары кругом.

В тракторной повозке уместилась и еще одна семья, родители о чем-то перекинулись парой слов с теми взрослыми. Генка сидит рядом с мальчишкой, чуть младше себя. Он смотрит на нее все время боковым зрением и молчит насупленно. Генка отвернулась и увидела, как поезд становится маленьким, превращаясь в змею, лежащую на самом краю горизонта. Мальчишка спит, и голова его облокотилась на Генкино плечо, а когда повозку трясет, он во сне хватает ее больно за локоть. Но будить не стала. Стерпела. Рука отца служит опорой ее спине, и от напряженной руки идет тепло и спокойствие. Хочется спать и высаться в новом доме, до которого еще час ехать.

6

Почему именно здесь? Тот же самый вчерашний вопрос. Интересно, где границы поселка, если границ никаких нет и видно очень далеко вокруг? Мальчишка давно проснулся и даже не понял, отчего ему было удобно. Земля покрыта низкой травой, и сухой, и зеленой в перемешку. Дикий степной запах. Ходят солдаты и собирают мужчин ставить палатки из белой и темно-зеленой ткани. Белые — небольшие, а зеленые — огромные. Генке раньше не приходилось видеть палатки. Это очень забавно. Дом появляется из каких-то свертков.

Папа сказал, что нужно идти в ту белую палатку. Страшная тайна раскрыта — эти палатки и есть дома. Люди молчат и едят вечернюю похлебку у маленьких костров между палаток.

Ткань палатки пропускает только свет костра, возле которого — театр теней. Что-то обсуждают. Руки и кепки похожи на клювы гусей и шеи жирафов.

Паук перед самыми глазами. «Хорошо бы, если это был бы наш паук, который в одежде прятался». Дедушка не позволял маме ловить и гонять их. Даже паутину не трогал, на что мама уже согласиться никак не могла. Кажется, Генка узнала этого паука. Он домашний.

Вчера она видела, как выводят коров и что Малина шла с другими. И дедушка с ней. Завтра пойдет поздороваться. В палатке надышали и тепло. Роман давно спит. Папа на улице.

7

— Папа, зачем они так тепло одеты?

Генка дергает отца за рукав, чтобы он обратил внимание на группу людей, державшихся в стороне и от приехавших и от солдат. Уже потом Генка видела таких людей на фотографиях, на черно-белых снимках. Но они были какого-то своего, серо-коричневого цвета. Ничего яркого. Молча смотрят, сощурившись, держа плетки с длинной деревянной рукояткой и помахивая ими. То ли нервничая, то ли собираясь вот-вот уехать. Непонятно, как они относятся к приехавшим. Да и к солдатам, и вообще ко всему вокруг. Говорят что-то друг другу, наклонившись, вполголоса.

— Ночью здесь холодно, а они там живут, — отец показал в сторону горизонта.

— А мы как будем здесь жить? — Генка схватилась за грубый борт повозки, оторвав резко руку, когда почувствовала под ладонью занозу. Так, чтобы не заметил отец.

— Будем жить, — сказал отец, — там же жили, и здесь не хуже будет.

— А когда мы поедем назад? — этот вопрос Генка придумала не сама, она услышала его от мальчишки, которого принимал на руки его отец из вагона.

Все прибывшие оглядывались на этих людей из степи, вытаскивая вещи из повозок. Пятеро. Один из них — старик с седой длинной бородой клином, а шапка у него кожаная — конусом. Оторченная мехом. Он спрыгнул на землю и, держа топтавшегося коня под уздцы, что-то резко скомандовал. Двое солдат нервно оглянулись.

8

Раньше дядя Антон приходил к нам каждое каждое утро. Жил он по-соседству. Это надо было видеть! Почему-то его очень не любили гуси, возможно, как-то по-своему передавали из поколение в поколение тайны торжественных ужинов дяди, на которые он их приглашал в качестве почетных гостей, отводя середину стола. Что поделать, дядя любил гусей. Или за то, что приходил рано, еще по туману. Стучал громко, и всегда сразу же открывал калитку сам. Дядя кашлял, тяжело поднимал ноги по скрипучим ступенькам и уже оказывался в доме, открывая дверь не резко, но решительно. Дедушка всегда говорил на это одно и то же:

— Антон, ты голодный?

Мама рассказывала, что первые годы что-то дядя отвечал. Потом перестал и, разувшись, молча садился за стол. Он смущенно смотрел в окно на гусей, головы которых выплывали из рассеивающегося тумана. Мы слушали, как стенные часы тикают на весь дом, стараясь обратить на себя все внимание. Часы были простые и старые, их сделал какой-то краковский мастер, во что верилось с трудом, но все верили и прощали им звонкий голос механизма.

9

Дети играли в догонялки среди пирамид, составленных из саманных, смеси глины и травы, кирпичей — некоторые кирпичи уже высохли, некоторые были еще влажными. Они быстро сохли, и пирамида, простояв пару дней, разбиралась для строительства домов. Здесь разрешали играть, а бегать вокруг ям, которые выкопаны для того, чтобы дома вросли в землю и меньше нужно было кирпичей, нельзя, за это ругали. Во-первых, мешали строительству, во-вторых, можно было свалиться под лопату. Ходить туда, где из земли вынимали глину и дождь набрал в эти ямы большие то ли лужи, то ли уже озера, тоже запрещалось.

Дом получился с влажным запахом подземелья внутри, вместо окон — проемы, завешанные мешками. Крыша из соломы. Посуду мама привезла с собой, но Генка увидела у соседей стаканы, сделанные из бутылок, и очень хотела такой же. Когда подсохло внутри, пол намазали красной глиной для красоты. Красота получилась липкой, и Роман упал, выпачкавшись, за что Генке сперва влетело, а потом мама обняла ее и заплакала, усевшись на лежанку из досок, которые откуда-то принес дядя Антон. Его дом через улицу, которую еще никак никто не назвал. Да и поселок никак не назывался. Потому что не все дома были готовы, а вместо нескольких стояли палатки. Но строительство шло быстро, комендант Фурсенко сказал на собрании, что зима будет суровой, нужно быть к этому готовыми. Но где брать стекла? Будет ли школа? Генка очень хотела в школу. Мечтала научиться писать, и читать, и рисовать. Почему-то представлялось, что в школе будет именно учительница, а не учитель.

Папа и мама спали на лежанке у окошка, а Генка с Романом за шторой, тоже вместе. Весь дом — одна комната. Еще печь, стол и вещи, сложенные в углу. Утром — тишина.

Вдруг в дверь постучали.

— Кто там? — мама не спала.

— Это я, — ответил голос дяди Антона из-за двери.

Мама помолчала. Она одевалась. Генке не видно было из-за шторы, но она слышала шорохи.

— Ты голодный? — спросила мама.

На пороге стоял дядя Антон и держал в руках что-то большое, завернутое белой тряпкой. Дом проснулся, и мама поставила кипятиться воду.

Минут через пятнадцать разговоров и возни сели пить чай. За столом не уместились. Генка и Роман — на коленях у взрослых.

Первым заметил папа, вернувшись с улицы.

Он подошел к стене за печкой и сказал: — Ладно, потом перевешаем.

На стене висели часы. Но не просто часы. Теперь уже не оставалось сомнений, что сделаны они именно краковским мастером!

— Зегар, — сказал Роман, указывая пальцем.

— Спасибо, — просто сказала мама.

— Нет, я не понял, как вам мой сюрприз?

— Спасибо, — снова сказала мама по-другому.

10

Все это время коров где-то держали, и Генка не виделась с дедушкой. Когда, наконец, появилась возможность забрать Малину и держать у себя в небольшом сарае, — иногда корова была корова, а иногда дедушка. Он велел ей не рассказывать об этой тайне никому больше. Генка просто заглядывает в глубину черных глаз-шаров и все там видит и понимает.

Корова лизет Генкину щеку своим шершавым языком, как большая собака.

— О чем же мне тебя спросить? — Генка смотрела в глаз корове, которая повернулась одной стороной головы, она так делала, и можно сказать, что у Малины это было привычкой.

— Я не успел начать с тобой разговаривать. Я думал — маленькая. Что ты помнишь обо мне больше всего?

— Помню, как пахнет твоя рубашка. Помню, как держать тебя за руку, какая она теплая. А кто была бабушка? — Генка усилась на сколоченный отцом табурет с домашней стороны и тоже повернулась к корове одним ухом. Она теперь не видела дедушку, а только слышала, как там, в загоне, шевелится корова, как она языком лизет доски загородки.

— Бабушка умерла, когда твоя мама была еще маленькая. Маме было столько же, сколько тебе. Спроси, помнит ли она ее. Она была очень высокая. Ей бы в этой комнате было тесно. Однажды мы поехали за город за солью, а она любила ходить по траве. Наступила на гвоздь. Мы привезли соль. Много привезли. А у нее заражение раны началось. Так и умерла. Быстро. Ничего сделать нельзя было.

— А почему ты сказал — за город? Ты раньше где жил?

— В Варшаве. Город большой. Каменицы, рестораны, войска.

— Театр, наверное, даже был там! — Геня даже привстала с табурета.

— Даже и несколько! — Малина слегка толкнула загородку, склонив голову. Рога чесала.

— Как звали ее?

— Бабушку? Нина ее звали. Нина.

— Почему ты снова не женился, дедушка, когда Нина умерла? Так странно было называть собственную бабушку «Нина», но ведь ее даже представить невозможно. Почему-то с зонтиком. Подумала Генка.

— Не все просто, Генечка. Бог одну жену дает.

— Но он же ее забрал?

— Ты, Генка, молоко пей.

— Дедушка, я должна идти.

— До свидания, Нина. Геня...

— Кто назвал меня, дедушка?

— Бог.

— Все у вас Бог!

— А как же!

11

Неизвестно, почему все называли это растение на окне цветком. Оно не цвело и, возможно, вообще не имело свойства цветсти. Может быть, просто принадлежало к другому семейству растений или цветки были настолько мелкими или непохожими на цветы, что их не замечали. А скорее всего, оно не цвело без опыления. Окно всегда закрыто, и у пчел не было шанса добраться туда. Ему не было никакого смысла цветсти.

Женя учится в четвертом. Ирина Владимировна стала называть ее так с первого же класса. Некоторых детей привозят из соседнего села, а ей повезло. Хотя школа — две комнаты. Зато есть окна и цветок.

Когда в классе появляется новая учительница, все нервничают. Вот она осматривает всех, и вы видите друг друга ее глазами, замечая детали, которые замылились. В первую очередь становится заметно, как все повзрослели и изменились. Вот она начинает называть фамилии и имена, вызывая смех своими ошибками. Учительница явно не полька. Стремится всех запомнить с первого раза. Классный журнал — старая тетрадь.

— Валасевич Ян.

— Это я, — Ян сидит рядом с Женей, значит уже сейчас. Каждый волнуется.

— Белецкая Женя.

— Я, — сказала Женя.

— Тогда Евгения — я исправлю на полное имя в журнале. Не дети уже.

— Мое полное имя Геновефа.

Некоторые захихикали. Вышло неожиданно. Не обидно.

— Ой, как прекрасно. Да ты у нас принцесса.

Женя вспыхнула. При всех. Оглянулась. В классе начался настоящий смех.

— А что, имя у тебя прямо-таки королевское. Ты знаешь его французский аналог?

— Мы же не изучаем французский, извините. Я — полька. Это польское имя. Зовите меня Женей.

— Все в порядке. Во Франции твое имя будет звучать как Женевьева. Женевьевы, без пяти минут королева.

Жене даже показалось, что кое-кто с завистью смотрит на перешитое платье с лишними глупыми пуговицами. Имя звучало загадочно. Женя даже почувствовала что-то. Такое, что появлялось теперь каждый раз, когда она, разговаривая, встречала во взгляде Аделии Францевны, учительницы математики. Непонятно как, то самое «что-то» появлялось в ее глазах и во время разговора с некоторыми одноклассниками. А для тех, с кем бегали когда-то вокруг глиняного озера, там где родители строго-настрого запрещали, она осталась Генкой.

12

Так пахли только люди. Женя проснулась и вспомнила. Этот запах уже есть в ее голове. В одной из тех колбочек, пробирок, как она знала, они точно называются. Запахи — ее богатство, которое никто не может отнять. Они заменяют Жене фотоснимки, грампластинки и даже живых людей. Таких вот, как эти, стоявшие на пороге. Она вздрогнула, потому что запах шел из полузыбкого детства. Такие люди уже приходили сюда в прошлой жизни. Так же стучались, так же объявляли что-то родителям, так же ночью. Женя делала вид, что спит. Вот они, прямо здесь, вставать с постели на полу сейчас не время. Отец разберется. Ответит им, что и так ничего нет и терять нечего, а значит мы не боимся, и ничего они нам не сделают. Жене очень бы хотелось выбросить из памяти этот запах, но колбочки внутри головы не бились.

Братик не проснулся. Еще одна причина не подниматься с постели — он. Теплый, лежит под боком, всегда у стенки. Это участок старших — становиться взрослее в такие

моменты. Даже не становиться. Уже быть взрослыми. Тут же стремительно соображая, как это делать правильно. Быть взрослым. Родителям некогда. Родители говорили тихо, но больше слушали. Было все слышно и все понятно. В школе об этом старались не говорить, не произносили «увезли», а только «уехал». «Уехал» предполагает «вернется». Женя увидела на стене в сеточке трещин черное пятно, осторожно вытянула руку из-под шкуры, служившей им с братом одеялом, и начала давить это пятно пальцем и водить по нему туда-сюда, пытаясь стереть. Оно никак не стиралось, и Женя начала ногтем указательного пальца пытаться его отскрести. Папа отодвинул занавеску, наклонился и поцеловал ее, потом брата, он замер, потому что понял, что Женя не спит. Помедлил. Снова поцеловал ее выше уха, прямо в волосы, и закрыл занавеску. У мамы, Жени и Романа появилось новое слово — «трудармия». Труд — значит доверие. К папе и к ним. Но армия значит смерть. Доверие и смерть. Не сочетается никак. Но она где-то есть как надежда на светлое будущее. Именно трудармия построит его. Одно только Жене было непонятно: если отцу и остальным доверяют трудиться для того, для чего живут и работают все другие, то почему они делают это под охраной? Вернется и объяснит. Запах его похож на запах деда и особенно сильно чувствуется не от самого папы, а от братика, после того как папа с ним играет и борется. Он как-будто пропитывает его волосы своим запахом, или, может быть, запах передался по наследству. Женя понюхала макушку братика. Сейчас она папой не пахла.

13

У этих людей возможности бога, но обязанности дьявола. Они читают все эти лагерные письма, словно молитвы тех, чьи жизни наполнены надеждой, или отчаянием, или беспокойством за родных, которым сейчас лучше. Бывают и письма по делу, по мелочам, деньги, вещи, но это тоже так похоже на молитвы. Самым громким голосам эти люди не дадут быть услышанными. Иногда, наверное, они отрывают одно письмо, читают его и понимают, что оно написано именно для них, безо всякой надежды и даже без другого адресата. Тогда они эти письма получают. Но остальные добираются по нужному адресу, несмотря на войну, страшные холода и перебои с транспортом. Принеся надежду, *зачерканную цензором аккуратно* или неаккуратно.

Третье письмо отца мама открыла только на следующий день, не сразу. У нее было предчувствие, и она плакала ночью. Женя тоже плакала и переживала. Хотелось узнать о том, что его скоро отпустят. Но отец почти ничего о себе не писал, мама прочла, что есть рядом кто-то, кто помогает ему с духом святым, с силами, и отец просит жить и ждать.

— Слава Богу, есть кто-то с ним рядом, кто помогает молиться, — мама положила письмо на колени.

— Он, наверное, совсем другой вернется, — Женя перебирала нитки на рукаве, потом посмотрела в окно, на ватное серое небо. Потом они с мамой помолились.

Роман забрался на колени к Жене, чтобы тоже посмотреть в окно.

14

— Вот холера! Ты чего делаешь? — мама почти плакала, это была очень неожиданная реакция.

— Да это же картина просто, никто же не запрещает картины рисовать.

— Сюжет! — дядя Антон держал доску на вытянутых руках, разглядывая с расстояния.

— Где-то был у меня гвоздь, где-то тут он. Длинный такой. Вот вернется твой мужик, а тут подарок от дочурки. Картина. Да еще какая! И... нет, не образ. Если бы у нас был ксендз, даже не знаю, что бы он тебе сказал, Геня. Но ксендза у нас нет, и я скажу тебе, что мне нравится.

— Бог накажет тебя, Антон, что ты говоришь! — мама повернулась к Жене: — И тебя накажет, обязательно! Немедленно! Страшно за такое накажет! И за то, что улыбаешься тут!

— Да где же был гвоздь такой длинный? Ты не видела, Генка? — дядя Антон откровенно веселился, глядя на то, как из мамы выходит какой-то страх и спадает ее оцепенение. Живая, она живая! Пол в доме посыпан красной глиной, которая утаптывается плотно, а мусор можно отковырять любой, и подметать такой пол удобно. Стены — побелены мамой совершенно героически. Неровности, торцы досок, во все углы залезла ее щетка, и темные закутки, темные только от отсутствия освещения, они все белые внутри. Потолок тоже белый, от этого кажется немного выше, чем есть. Один Бог знает, сколько сил уходит у мамы на то, чтобы в доме было так чисто. Там, за штукатуркой, в саманных кирпичах, построили свой мир мыши. Иногда слышно, как они там перемещаются. Дом становится как будто живой.

— Нет, я не видела у нас тут гвоздей, — Женя не может уже держать улыбку, глядя на маму.

— А, вот же он, — дядя действительно поднял с пола длинный гвоздь, держа при этом доску в правой вытянутой руке, как будто он держится за нее, как за центр мироздания, чтобы не свалиться в какую-то бездну.

— Забьешь тут гвоздь в саманный дом, как же. Вот вернется муж твой, слышишь, требуй хату деревянную. И картину не забудьте, я серьезно говорю. Проверю! Чтоб висела! Она с верой написана. Это видно. Генка, ты молодец. Талант!

15

Даже возле берега небольшой реки, если отойти от зарослей камыша или осоки в сторону, туда, где на глине или песке чаще всего можно увидеть следы копыт скота, шедшего утром в стадо, если перейти и это пространство и приблизиться совсем вплотную к миру лужиц и родников, закрытых кустами, то там стоит закрыть глаза. Сесть на корточки и раздвинуть кусты или заглянуть поверх, если позволяет рост. Заглянуть в маленький идеальный мир прозрачного озерца, образованного родником. С прогретой водой цвета белого вина, часть поверхности которого заросла ряской, и не просто ряской, можно разглядывать и любоваться каждым отдельным растением ряски. Два овальных непромокаемых листка, вниз спускаются черные усики корней. Расстояние от берега до берега легко и быстро преодолевает водомерка, а под кустом может настороженно сидеть лягушка, которая давно за вами наблюдает. Мир, в который невозможно попасть, его можно только разглядывать и наслаждаться дыханием его спокойствия и идеальности. Еще иногда у основания веток осоки можно видеть больших черных улиток конической формы, ленивых, цепляющихся за лист и предпочитающих находиться наполовину в воде, где, несомненно, теряется вес тяжелого конуса. Улитки эти блестящие от воды или слизи и напоминают озеру о том, что оно однажды может превратиться в болотце, когда армия ряски полностью закроет собой поверхность, а конусы с налипшими на них листьями будут время от времени подниматься, раздвигая темную прорубь, словно динозавры в тот период, когда земля была покрыта болотами. Такое идеальное озерцо не живет долго. Его судьба — превратиться в болотце, или же коровы выплюнут безжалостно и даже не заметив этого мира, и посреди озера будет черный некрасивый след, похожий на воронку от взорвавшегося авиационного снаряда. Ряска будет разметана ошметками и высохнет до желтизны, прилипшая к веткам осоки, а улитки исчезнут.

Когда ветер перестал, белая поверхность показалась нетронутой до самого куста, торчащего в метре веником из снега. Плотного, уже окрепшего, с замерзшей корочкой льда. Если бы она упала лицом, было бы больно и холодно. Но нос остановился буквально в каких-нибудь десяти сантиметрах от белой поверхности. Руки сильно обожглись, продавив замерзшую поверхность. Пленка метели, которая так мешала

разглядеть дорогу, спала, и снег стал виден в деталях, до искрящихся граней снежинок, вмерзших в корку. Но было что-то лишнее на этом белом. Женя с удивлением поняла, что это две черные улитки. Ракушки не были покрыты слизью и казались матовыми, сухими. Они втянулись от испуга в тот момент, когда что-то большое и темное чуть не упало на них сверху. Но очень быстро улитки начали выпускать ногу и ощупывать снег. Осторожно дотрагиваясь до непривычных холодных граней, исследовали мир вокруг. Хотя, возможно, улитки не чувствуют изменения температуры, холода или жары. Женя смотрела на них, забыв о погруженных в снег руках без варежек, и не думала ни о чем, кроме того, как они могли здесь оказаться и как она могла здесь оказаться? И где дорога? И где комендатура, и где мама, и где Роман? И почему маму не отпускают из комендатуры уже весь день, и почему она сказала тетке Тerezе, что не пойдет за мамой в снег, а сама пошла, и о том, как там, дома, чувствует себя Роман. Тетка Тerezе обязательно зайдет проверить, как он. Пощупает лоб. Возможно, она не разуется, а может, и разуется.

Комендатура не так далеко, и даже если замело дорогу и колея под снегом не прощупывается ногами, то строение с зажженными окнами должно быть заметно и в метель.

Обязательно существует какая-то возможность объяснить им, что мама сейчас должна быть дома с Романом, что за ним нужен уход, что несмотря на то, что мальчик не жалуется, он и не ест. Что временами он горячий, а это плохой признак.

Лучше бы он плакал и жаловался.

Она посмотрела на улиток, которые совершенно осмелились. Настолько, что начали двигаться. Держать свои конические панцири на весу им явно было нелегко. Но они начали ощупывать ногами поверхность и двигаться.

Вдруг одна из улиток резко втянулась внутрь ракушки, а за ней и вторая. Вот они снова повылезали и ползут. Рядом. Судорожно ощупывая ледяную корку, понемногу двигаются вперед. Женя заметила, что за одной потянулась тоненькая розовая ниточка, потом вторая параллельная. За другой улиткой тоже потянулась такая, стала толще и стала красной. Видно было настолько четко и подробно, что Женя увидела даже красные точки на кончиках льдинок. Преодолев всего сантиметров пятнадцать, улитки изранили себе всю поверхность ног, и полосок крови стало больше, а у одной они сливались в красную полосу, как будто кто-то вел розовый карандаш по чистому листу.

От их дома до дома тетки Тerezы протянута веревка, по ней тетка и пришла проводить детей. По ней Жене удалось добраться сначала до угла дома, а потом сделать шаг в белое поле и нащупать колею дороги под ногами, по которой, казалось, могла ходить с закрытыми глазами. Потом колея потерялась, оставив только белое поле, туман стелившегося снега от завирухи, о которой так яростно говорила тетка. Верхушки кустов торчали над белым тут и там ложными маяками.

Вон тот самый холм. Или вот этот? Или это в глаза лепит снегом и это сугроб? Есть ли здесь сугробы, в степи? Если ли здесь волки, в степи?

Как там Роман? Пришла ли тетка Тerezе? Она сказала, что не придет, если Женя выйдет на улицу, но она обязательно придет проводить Романа. Может быть, мама вернулась?

Сжав веки, Женя открыла глаза и стала смотреть на улиток. Они явно ползли к тому кусту, до которого остается сантиметров тридцать всего. Они доберутся. Откуда в улитках столько силы и столько крови? Красные следы превращались в розовые льдинки, которые белели и, если не приглядываться, тосливались с поверхностью. Улитки больше не делали судорожных движений, ощупывая с удивлением острые края льдинок. Они ползли, теряя кровь. Женя почувствовала руки и села, выдернув руки из снега. Принялась растирать ладони. Посмотрела в ватное темное небо. Поднялась на ноги и пошла дальше. Еще не хватает. Аккуратно обошла улиток, побоявшись их перешагнуть.

16

Неужели это то кладбище? Но ведь оно за речкой. Когда я ее успела пересечь? Женя не увидела ничего страшного внутри склепа, а это был именно склеп, и рядом были и другие. Она выглянула, чтобы убедиться. Были. Снег заметало внутрь через широкий проем, но она сидела глубже, там, куда он не долетал. Света было мало, да и разглядывать здесь было нечего. Какая-то горка обломков глиняных кирпичей посредине. Никаких мертвцевов. Умершие покоялись под землей. «Хозяйкой склепа была женщина», — подумала Женя. Он построен в форме конуса, простой и белый, он похож на шапку немолодой казашки, какие они надевали по праздникам. Женю всегда это удивляло. На первый взгляд, казахские одежды, казавшиеся всегда слишком теплыми, а носили они их даже летом, были темными. Казались грязноватыми. У детей — неопрятными. Абы как надетыми. Но если праздник, девушки доставали необычные нарядные платья зеленого или красного цвета, стеганые, бывали даже отороченные мехом, а женщины надевали белоснежные шапки — из содержимого сундуков в юртах. Шапки эти повязаны на голове так, что образуют белый конус. Похожий на этот занесенный снегом склеп.

Но не страшно. Лишь бы только волки не шастали или одичавшие собаки. Никого, вроде. С мертвыми у Жени отношения складывались вспыхах и на живых примерах. Да и все эти люди живы, как говорит Бог. Все ждут. Зал ожидания все наполняется и наполняется. Провожающих не пускают на перрон. У мусульман принято хоронить до захода солнца. Женя запомнила эту картину очень хорошо. Чеченцам, которых поселили той весной в поселке, запрещали хоронить своих на казахском кладбище. Тем летом у них умер старик. Заворачивали тело в ткань внутри дома, и вынесли шестеро на плечах. При жизни старик был сгорбленным, он вообще почти не ходил, все время сидел у дома, но можно было догадаться, что он высокого роста. Просто никто внимания не обращал. До самой смерти этот дед злобно глядел на все вокруг, но никому никогда зла не делал. Ограничивался взглядами. Люди стали обходить угол деда. Война. И без него тяжело. Он, наверное, даже не понимал, где находится. Сидел, ждал Лермонтова.

А когда умер — расправился. Свертка с его телом хватило на шестерых. Солнцешло к закату, и эти шестеро так и вошли в речку по колено, держа свернутого деда на плечах. С другого берега к ним подошли шестеро казахов и приняли тело на свои плечи. В полном молчании забрали деда и унесли хоронить на это самое кладбище.

Умереть в склепе нельзя. «Никакой логики, — думала Женя. — Место занято. Идти дальше, или ждать здесь?»

Сюда никто не придет зимой. Холодно. Кладбище далеко от поселков. Темнеет. Но метель заканчивается. Завирухе конец. Надо идти. Люди недалеко. Пусть уже и не комендатура. Просто кто-нибудь, кто укажет дорогу. Не хотелось подумать — кто-нибудь взрослый. Но именно так и подумалось.

17

Ночь в юрте Женя помнит сквозь красные огоньки тлеющих углей в очаге. Это чудо — оказаться на теплых одеялах в заметенной снегом юрте среди ночи. Отогреться чьими-то руками, чьими-то голосами. Мужчина, женщина и мальчик. Младше Романа. Темненький. Женщина гладит ее по волосам, говорит свое — «Алтыншаш», Женя уже привыкла и, выпив что-то кислое, но согревающее, засыпает, лежа на боку и согнувшись в калач. Никак не согреться до конца. Но дошла. Рассказать все некому, никто не понимает. Ночь. Пурга прекратилась. Ногам тепло.

Снится, что маму отпустил комендант, что они разминулись на дороге всего в каких-то десяти минутах, что Роман так ей рад, что прошла температура и он сидит

у ее ног, играет. Вот уже какой-то взрослый парень за столом напротив и смотрит улыбающимися глазами. Стол крутится в комнате, а на другом конце сидит она и говорит почему-то, что отец погиб, но при этом улыбается, как будто это хорошо. Тревога охватывает во сне. Крик. Опять красные угольки очага перед слипающимися глазами. Кто этот парень со светлыми волосами?

Маме некогда переживать за нее. Сама же виновата. Ушла из дома. Нужно за Романа переживать. Но уже поздно. В доме пусто, и даже мыши за стенами понимают что-то важное и непоправимое. Не пищат, затихли. Никто ничего не изменит. Как теперь писать отцу? Надо ли сейчас?

Вся переписка односторонняя — никаких ответов на вопросы, только привет с того края жизни. На каком краю легче?

Писать о том, что комендант держал два дня невесть за что? Страной правят сложные обстоятельства. Все решения принимаются без поправки на судьбы. Никаких мелких решений не принимается.

18

Однажды она услышала, как дядя Антон сказал про степь: «непаханое поле». Так многие из жителей нового села и отнеслись к этой земле. Мол, земля везде земля. Трудно пришло в первый год. Понять, когда дождь, когда солнце, когда заканчивается совсем короткое лето и уже ничего с этой землей не успеть. Стоило обжиться, как нашлись дрова и пригнали, наконец, в колхоз два трактора. С ними было гораздо проще. А что касается коменданта, то коменданта касается все. Казахи стали приезжать в село часто. Как-то узнали, что обувщик есть хороший. О таких вещах всегда становится известно. Кожаные мягкие сапоги выглядят так, как будто их достали из средневекового сундука. Вообще много казахи хранят в своих сундуках в юртах, да и сами сундуки чудесные, для сокровищ предназначенные. Глаза у казахов всегда печальные. Иметь возможность собрать дом и уехать хоть завтра, но не уезжать, а жить вот так вот, не на чемоданах, а вообще безо всякого чемодана в буквальном смысле. С одним только сундуком. Они приезжают, откуда-то знают все последние новости о происходящем в поселке. Привозят кобылье молоко, лепешки, сухой соленый сыр маленькими кусочками и отдают, иногда просто так, иногда больше, чем нужно при обмене. Сами тоже бедствуют, но всем делятся. Ни у кого сейчас нет ничего хорошего. Но у них есть неизмеримо больше, чем у людей в поселках. Под копытами их коней даже не свобода — воля.

19

Перемены были еще хуже уроков. «Я больше никогда не смогу любить зиму», — подумала Женя и отвернулась от окна. Шла следующая зима за той, когда все случилось. Она наступила так же монотонно, как всегда. Без сюрпризов. Полетел снег за окном, и всем все вспомнилось.

Ольга подошла и встала рядом. Полненькая, в том возрасте, когда пухлые румяные щеки готовы или превратиться спустя год-другой в фарфоровую красоту, розовеющую изнутри от прямого взгляда парня, или округлить лицо окончательно, превратив хозяйку в бойкую смешную толстушку, прячущую тоску по женственности за грубовато-отчаянными шутками.

Пока это был еще ребенок. По-детски, не зная как и что сказать, Ольга опустила глаза.

- Очень жаль твоего братца.
- Да, — ответила Женя.

20

Темнело, и ветер гнал запах цветущей пыли, смешанный с запахом овец. Можно было просто закрыть глаза и представить этот вид уходящих вдаль просторов и холмов на горизонте и опушки обманного леса, всего в несколько рядов деревьев при ближайшем рассмотрении. Позднее лето — такое. Здесь, между домами, уже почти темно, стены отбрасывают тени на грязь колеи. Лучи заката отражаются на редких стеклах, превращая их в красные зеркала. Звук лошади, тянувшей телегу, совершенно особенный и состоит из десятков деталей, его ни с чем не спутать. Колесо телеги бьет сухие комья земли, скрипят подпружи, копыта ступают, каждое по-своему, лошадь фыркает время от времени. Оркестр. Сама телега тоже поет. Она как живая. Скрип частей, дерево рассохшееся, железо. Если те, кто сидит в ней, — разговаривают, то не громко, тихо говорят. Тем более, в это время, против наступающей темноты, громко говорить и не получается. Голоса сливаются со звуками телеги, лошади, колеи, и все это вместе едет, приближаясь, показываясь между домами неспешно. На пороге дома уже кто-то появился. Тетка Тереза. Два или три человека спрыгивают с телеги и заходят в ее дом. Стекла окон уже не красные. Закатное солнце забрало свои лучи обратно.

По двое, по трое тени людей собираются к дому тетки Терезы. Дом большой, «сталинка». Взрослые и детские тени почти одинаковой длины. Женя и мама одни из последних. Стол развернут и накрыт длинной материей, и здесь же двое незнакомцев в черной одежде — мужчины, один с седыми бакенбардами необычной формы, а другой — коротко стриженный. Но есть в нем что-то, отделяющее его от обычных коротко стриженных мужчин. Движения его знают, что делают, а сам он о чем-то думает. Не смотрит ни на кого.

Достает на стол две иконы, черную книгу, сразу раскрывает ее и смотрит на страницы, потирая руки. Другой достает из мягкого портфеля, лоснящегося, почти до баклажанного блеска стертого, что-то завернутое в тряпичные чехлы. Передает коротко стриженному в обе руки, и тот, даже не глядя, снимает тряпки, обнажая утопленный в металле, вишнево-золотой блеск чаши и кубка. Стол немедленно становится другим. Кубок на высокой, резной ноге, чаша, откуда-то чьи-то руки подали вино и хлебные лепешки.

Быстро подводили детей и взрослых. Одного за другим. Женя смотрела и ждала очереди читать Библию. Полутемная комната, душная от такого количества людей, наполненная ангельским запахом, непонятно даже, откуда взявшегося. Никто не разговаривает без дела. Каждый знает, зачем пришел, и сосредоточенно ждет своей очереди, Женя пробежалась по глазам. Печаль. Но спокойствие. Скорбь, говорят священники. Не у всех. У некоторых в глазах торжество.

Крестят детей. Женя смотрела сначала на лица и то, как эти лица изменились, меняются, становятся суровыми. Свет такой, что тени падают, оставляя некоторые лица неузнанными. Или просто здесь они другие? Женя стала смотреть на потолок, углы, прокопченные сажей ламп. В верхнем углу напротив нее сетка трещинок. Она снова посмотрела туда, в угол, когда подошла очередь причастия. Сложила руки на груди крестом и поклонилась. Дом тетки Терезы, лепешка, покрытый материей стол. Церковь. Алтарь. Причастие.

21

Женя сошла с поезда ночью. Проводник, полный парень с грустным бессонным лицом испугался. Он разбудил ее, дернув за плечо, и сразу смутился от того, как резко она повернула голову, вздрогнув. Вышел из служебного купе на шаг. За спиной — красная пасть печки-кипятильника. Женя села и посмотрела в окно, похожее на поверхность противня чернотой и каким-то потеками черного жира по краям. Ни

одного огня. Она поднялась и собралась достать чемодан, лежавший в ногах, закинутый сверху коричневым одеялом в рыхлую клетку.

— Через полчаса выходить... я тебя высажу. Будет не город еще. В городе проверка состава — проводник зашептал в дверь купе, но все было отлично слышно. Женя села, потом пересела. Парень так и остался в дверях. Хотелось погасить эту неприятную лампу над входом. Желтоватую, высвечивающую детали. Грязь по углам, гору чьего-то мятого белья, которым забито пространство под столиком. Газету на столике и недопитый чай. Все это могло бы не бросаться в глаза, думала Женя, убрав освещения или перенеси его куда-нибудь в другое место.

Молчать в поезде легко даже с чужим человеком. Не только много звуков вокруг, но и картинка меняется, и к тому же все время покачивает, какое-то движение всегда есть, которое не дает застыть мышцам до состояния неловкости. Читать газету, которой застелен стол. Самое трудное молчание — перед выходом. Нужно держаться, чтобы не оказаться среди нетерпеливых и сожалеющих о покинутом купе в тамбурах. Там можно курить, и все курят, там время от времени возникает невыносимый звук открытого межвагонного пространства, врывающийся в дверь, когда кого-то несет пройти. Есть такие, кто бесконечно ходит по вагонам. Целый мир карточных шулеров, воришек и людей с колючими глазами. Они воспринимают сидящих по своим местам хорошими возможностями и делят только на типажи. Ходят и обычные люди. Успевшие догнать на короткой остановке и разыскивающие свой вагон. С детьми. Военные, которые не могут сидеть на месте долго. Именно в тамбуре понимаешь, что есть единая страна, и она огромная и неустроенная. Которой нужно равновесие и покой, и все эти люди по-своему пытаются его искать, переезжая куда-то. Остановка — три минуты. Женя была единственной, кто сошел с поезда здесь. Ну, и хвала Иисусу, подумала она. Зашла в маленькое деревянное здание станции, сразу в зал ожидания. Хотя какое может быть ожидание, когда все поезда останавливаются по три минуты, подумала она, и решила, что это так нелогично и глупо. Можно ждать смерти всю жизнь, а она длится секунду.

Была скамейка.

Вспомнилось, как белая рубаха проводника все время выбивалась из ремня, и когда поезд двинулся, лица его не было видно в темноте, только рубаху, как флаг, и ей и пришлось крикнуть спасибо. Женя села на скамейку и поставила чемодан рядом. Запах купе все еще был на ней. Но в зале пахло сосновой, деревом. Все спали. Когда стук поезда исчез, стало очень тихо и спокойно. И свет совсем тусклый, от фонаря за окном у парадного входа. Прохладно, но не бодрит. Женя закинула ноги на скамью, голову положила на чемодан и сжалась в комочек. Два поезда помчались, предварительно предупредив ее гудками, чтобы она смогла подготовиться, выйти из сна и не испугаться. Она не помнила, с какими промежутками они проезжали и сколько еще было составов перед тем, как наступил рассвет.

Хлопнула входная дверь, и Женя увидела утро, резко сев, как она умела делать. Это был обходчик, немолодой, в гимнастерке и с запахом одеколона и перегара. Он с извиняющимся видом поздоровался, вежливо глядя мелкими глазами, скрывающимися в складках лица.

— Через полчаса электричка. Я достучусь до Машки, она билет продаст, — было сказано вместо здравствуйте, для сбережения голосовых связок.

— Доброе утро, спасибо, — Женя подумала, что хорошо, что она, оказывается, не одна ночевала в здании станции.

— Машка, открывай кассу, клиент ждет!

Женя смотрела, как мужчина стучит в дверь кассы, потом дергает закрытую ручку, потом переходит к активным действиям у окошка за углом. Окошко открывается, чтобы громче слышались торжественные проклятия, будто текст роли в любительском театре из будки супфера.

— Дай билет на электричку.

Прозвучало что-то вроде пожеланий о вечном невозвращении покупателю, потом голос вдруг стал мягким, но все равно толком ничего не было слышно со скамейки. Мужик тоже стал вежливым, поглаживал себя рукой по щекам. Услышав гудок электрички, Женя поднялась с места. С чемоданом направилась к кассе. Мужчина протянул билет — на вот, уезжай.

— А деньги?

— Так уезжай.

Жене стало неловко, но нужно было принять подарок обязательно, и она спросила, забирая картонку билета: — Как называется эта станция?

— Какая тебе, на хрен, разница, — мужчина повернулся к окошку.

— Спасибо, — сказала Женя

— Электричка, — напомнили из окошка.

22

Городская железнодорожная станция отличалась от той, на которой Женя сошла ночью, только тем, что в городе поезд подъезжал бровень с дощатым настилом и не приходилось спрыгивать с высокой ступеньки. Оказалось, правда, что ее вагон не доехал до опрятного небольшого строения — здания вокзала, а тот деревянный дом, который она увидела перед собой, прибыл, служит для каких-то милицейских целей. Она прошла через просторный белый зал со скамейками, заполненными ожидающими с тюками вместо чемоданов и сумок, и спустилась по высоким ступенькам. Там, где они заканчивались, были грязь и большая веселая лужа, отражающая крышу вокзала и флаг. Слева к ступенькам были проложены доски — мостки, которые покачивались под тяжестью ног двух мужиков, тащивших на спинах тюки. Как будто они поднимались на корабль, а Женя стояла на палубе. Замечательный город, большой. Вокзальную площадь окружали деревья, и лучами от нее расходились три грунтовые дороги, идущие вдоль кварталов двухэтажек. Она пропустила мужиков и воспользовалась мостками, чтобы попасть на ту сторону лужи. Выбрала дорогу, ту что была посередине, и пошла вдоль дома с надписью «Совет по делам железнодорожников». Дальше, за пустырем, заросшим густой крапивой, началась новая двухэтажка, а потом начались заборы. За которыми ухоженные, явно старые побеленные дома-избы. Дорога сузилась до тропинки, а вместо тротуаров росла трава, которую щипали недовольные гуси. У колонки с водой разговаривали две женщины, поставив наполненные эмалированные ведра рядом.

— Здравствуйте, скажите, а где тут художественное училище находится? — Женя поставила чемодан рядом с ведрами.

— Художественное? Живопись? Это вам, девушка, надо в центр. Там все у нас, — одна из женщин, в зеленом платье, ответила с непривычными ударениями в словах, которые Женя уже слышала в электричке.

— Вы лучше сейчас идите к вокзалу и от него направо. Там будет и комендатура бывшая, и училище.

Зацепило слово «комендатура».

Другая женщина только кивала, потом подняла ведро, сказав: — «Ладно, пойду я, домой пора». Это было так по-домашнему и мягко, как будто здесь, в этом городе, сто лет ничего не происходило, кроме вот таких походов по воду ближе к полудню, чтобы поставить на этой воде вариться борщ или уху, или приготовить чай. Так спокойно и вдали от всего, и гуси, и запах травы с навозом.

В столовой у вокзала — полстакана сметаны, яйцо вкрутую и макароны с колбасой и киселем. Яйцо Женя оставила в чемодане. В газету завернула. Но соль забыла. На выходе из столовой придержала дверь троим рабочим с масляными черными руками по локоть. Один в шутку потянулся погладить. Женя зажмурилась и расхохоталась.

Вдоль той, левой, улицы, резко уводившей в сторону, сперва шли такие же двухэтажки — то больница, то еще что-то, потом встретился железный мост над путями, потом дорога покрылась асфальтом и, бросив под ноги деревянный тротуар, вывела к нескольким нарядным большим домам за железным забором из прутьев. Ворота не заперты. Белый фасад, купол и два полукругом расходящихся крыла здания художественного училища понравились. Аллея и три скамейки. Выметено и клумбы. Деревянный стенд с листом бумаги, приглашающим на выставку студенческих работ, начавшуюся вчера. Все так серьезно, что Жене стало страшно. План сослаться на потерю документов, казалось теперь, мог провалиться. Она уселась на скамейку и поставила перед собой чемодан. У ног. Все могло закончиться очень быстро. Кабинет. Приемная. Вызов милиции по случаю задержания гражданки без документов. Как вы сюда приехали, Женя?

Поездом? Никто не поверит. Из другой республики? Никто не поверит тем более.

Художники — люди творческие, но документы у них есть.

Человек в длинном сером халате, в каких ходят мясники, прошел мимо с метлой, грязно глянув на Женин чемодан. Как будто чемодан пачкает дорожку. Шаркал ногами и нес метлу странно, перед собой, держа двумя руками, как будто та хотела вырваться из рук. Исчез, завернув за угол здания.

«Прогонит дворник, этим тоже может закончиться, даже проще», — подумала Женя. Достала яйцо, завернутое в газету, развернула и, расстелив ее на скамейке рядом, стала медленно счищать скорлупу.

— Христос воскресе, — хриплый голос неожиданно подкрался сзади.

Женя вздрогнула и повернула голову в ту сторону, насколько получилось.

— Что? Здравствуйте!

— Газету куда планируете выбросить, барышня? — голос, казалось, был отравлен и удущен, а на вытянутом бледном лице не было эмоций. Ни сарказма, ни чего-то серьезного, вроде любопытства. Просто лицо.

23

— Садитесь, не надо стоять, — человек этот не был похож на художника, белый слишком просторный костюм, короткая, по-военному, стрижка.

Женя села на стул у письменного стола. Напротив большого окна на втором этаже, того самого, на которое она смотрела все это время с улицы.

— Пишете картины? От такого человека можно было ожидать «рисуете», но никак не «пишите».

— Нет, я как раз этому учиться приехала, — Женя опустила голову, стараясь говорить только то, что важно, чтобы не унесло в сторону, в какую-нибудь глупость.

— Никогда не видел людей, которые ничего не рисуют. Тем более среди тех, кто приехал поступать в художественное училище. Вы странный экземпляр, девушка. Единственный в своем роде, — без тени иронии, нараспев. Без акцента, с которым говорили в этом городе.

— У меня все это в голове, но надо уметь, — Женя посмотрела в его глаза, серьезные и глубокие.

— Скажите, вы ведь немка или полячка?

Жене мешал думать запах табака в комнате, он делал все таким официальным, хотя все и было официальным. Она опустила голову и думала. Думала-думала и ответила: полька.

Тихо. Он тоже помолчал.

— Про учиться и «все в голове» свое или дворник напел?

— У нас там не густо с холстами и красками. Я однажды на доске нарисовала Богоматерь.

— А, так вы еще и иконами занимаетесь?

— Разрешите мне попробовать, — голос Жени сполз в непозволительную просьбу.

— Вы же понимаете, что из этого получится, — он вздохнул тяжело и положил на стол обе ладони, — ладно, я помогу вам.

Женя вскинула голову совершенно удивленно. Потому что понимала, что из этого получится.

— Я помогу вам достать справку, чтобы на обратном пути с поезда не сняли. А пока поживете в общежитии у нас. Несколько дней.

Закрыв дверь кабинета, Женя перешагнула коридор, встала у окна и, не видя, смотрела в стекло на аллею. Там никого не было. Облегчение и боль. Сама виновата. В чем? Поможет. Обратно. Не звонил в милицию. Позвонит в милицию. Без милиции никак не обойдется.

24

Женя держала в руках письмо отца. То самое, которое ни мама, ни она не открыли. Увезла его с собой именно для такого вот момента. А может, он потому и наступил, этот момент?

Так бывает, но может быть, сам человек к этому ведет. Моя вина, моя вина, моя вина. Зачем увезла письмо у мамы? Мало того, что сама сбежала. Выдохнула. Письмо написано почерком отца.

Про Романа опять спрашивает. Как же больно каждый раз. Как игла в голову. Вернется ли?

Как он напишет об этом?

«Без конца размышляй о последних вещах и не погибнешь никогда», — в этих словах и надежда, и отчаяние. Женя свернула письмо по тем же самым сгибам, по которым оно было сложено им. Маме бы понравилось это письмо.

25

— Что это? — Женя стояла и смотрела на холст. Неуклюжие персонажи какой-то библейской сцены.

Дворник, подождав пару минут, отодвинул холст, за которым был следующий, с каким-то натюрмортом, что-то было в этой простоте и неестественно ярких красках.

— Что это? — имея в виду и все холсты, и именно этот, спросила Женя.

— Картины, не видишь, — бог таланта не дал.

— А вот, смотри, чистый. — Четвертый или пятый из показанных дворником холстов оказался пустым, — ну, это тебе подарок. Рисуй свое. Как и хотела. В стенах, так сказать, художественного училища, — голос не выдержал такой длинной фразы и в конце совсем перешел на сип. Вон там краски. Давай. Что будешь рисовать?

Женя поглядела на свой холст и все там увидела. Настолько четко и ясно, что даже рисовать не стала.

— Улиток. Однажды я была в снегу. Видела, как ползли черные блестящие улитки. Они о края льдинок резались, и за ними тянулись полоски крови.

Лежать на одной кровати с дворником было некомфортно. Он ворочался, спал беспокойно, а перед тем, как уснуть, по его телу проходила судорога. Кроме кровати в узком коридоре не умещалось ничего, оставался только узенький проход к помещению полтора на полтора, в котором стояли холсты у стены и метла с ведром и совком. На полу лежали палитры с намалеванными красками. Целыми слоями. Где-то среди них кисти. Все холсты начатые. Один, о котором Женя думала, лежа у стенки, белый, хотя серый от пыли. Она испытывала к этому холсту страх. Ничего так в жизни не боялась, как этого квадрата. По нему ползли улитки. Сколько лет уйдет на то, чтобы они поползли по холсту? И пройдет ли? И есть ли вообще талант перенести из головы? Так она уснула. Этих ночей до переезда в общежитие было две. Дворник спал в рубахе и брюках. Женя — в платье. Никакой возможности выстирать одежду в таких условиях.

26

С Георгием они познакомились в очереди в столовой общежития. С ним и с Катей. Ели отдельно, Жене неловко было разрушать компанию, хотя и видела, что к ним подсела какая-то студентка со стаканом компота. Подумала, что недолгим получилось знакомство, но Георгий сам заговорил на скамейке. Для того чтобы отвлечься от ожидания вызова в кабинет, подходили любые занятия, и простое сидение на скамейке было худшим из возможных.

— Дворник у нас — глыба, — Георгий наверняка заметил, что Женя бывала в его комнате.

— Несчастный человек, — такая ситуация, что и секретами делиться нельзя, и поговорить не о чем.

На это предпочла промолчать.

— Он вам уже рассказывал свою историю о том, как картины спасал в Дрезденской галерее из огня, я надеюсь?

— Оказывается, вы знаете, — Женя даже улыбнулась, и это не вышло нервно.

— Каждому уже рассказал, но есть разные версии. Мы все храним этот секрет. И вы храните, Женя, не выдавайте.

— А родные у него есть здесь?

— Никогда не видел, чтобы он отсюда хоть куда-то уезжал. Мы думаем, что он абсолютно счастливый человек, и даже более того. Он абсолютно счастливый художник!

Женя не говорила на таком уровне раскрепощенности и чувствовала неловкость и свою ущербность в этом, но четко осознавала причины. Можно нагнать, постаравшись, если осознаешь.

— Каждый из нас когда-нибудь выучится и, выучившись, создаст картину своей мечты, и у кого-то это будет бездарная безликая работа, у кого-то, тут я себя имею в виду, — шедевр. Но муки творчества ожидают каждого вне зависимости от результата и следа в истории. А дворник — счастливый человек.

Манера строить фразы и тянуть слова оправдывала его многословность. Георгия хотелось слушать.

— Я не заметила...

— Но ведь он вам рассказывал или еще нет? Он оказался в горящей Дрезденской галерее, там много чего погибло при бомбежке. И людей, и шедевров. Вот он людей не вытаскивал, а картины. А когда не смог вытащить, он их запомнил. Ну, как мог, конечно. А теперь восстанавливает утраченное наследие.

— Вас ведь Женя зовут?

— Женя, да, но Геновефа, если точно.

— Ух ты, Женевьевы... Поздравляю, — Георгий улыбнулся отвлеченно, — красивое имя.

27

Едва Женя успела выстирать и высушить вещи, как все решилось. Потребовалось всего два дня. Ей пришлось вернуться в кабинет. К запаху табака и казенной одежды она испытывала отвращение. Отец курил дома, и ее детские воспоминания были окутаны дымом. Но обошлось. Директор сидел один. Никаких сцен или морали, которых она тоже опасалась.

— Вот бумага, ждали по вам запрос. Возвращайтесь. Не знаю, что там с этим всем дальше, ну, да вы сами это заварили. В общежитии живите еще... он поднял глаза на Женю, — сутки. Потом прощайте и удачи. Захотите писать картины — будете, никуда это от вас не денется.

— Извините, спасибо, конечно. Во-первых, очень благодарна вам. А как надо? Я гляжу на холст и все уже вижу... я...

— А это как раз и есть признак непрофессионала. О, Господи, когда вы видите свое произведение «глазами собственной души», оно герметично. Вы меня не пускаете в него. Я смотрю и не в силах преодолеть ощущения, что вы требуете от меня чего-то невозможного. Хочу, чтобы вы меня правильно поняли, я здесь не убеждаю художников отказываться от себя.

28

Во второй раз в жизни она ехала в Казахскую Республику насовсем и на этот раз не могла разобраться, по собственной ли воле или из-за того, что есть обратный билет. Причина, по которой она бежала от этого места, все колола тревожной иглой внутри, ползущей по пластинке памяти кругами. Круг за кругом. Так много людей Женя никогда раньше не встречала. Теперь она тоже была одной из них. Мир больше не делится на тех, кто в поселке, и тех, кто делает что-то важное и интересное. Пересадка на вторую ночь пути перебила мысли, и в другом поезде Женя уже думала о том, что будет в той реальности, которая приближалась стуком колес по стрелкам.

29

Чтобы почувствовать себя где-либо по настоящему дома, нужно уехать надолго и вернуться, по возможности, ночью. Пусть даже тебя встретят, но ночные лица растают и проявятся в людей только утром, когда все, казавшееся до отъезда унылым и надоевшим, окажется совсем родным и наполненным другим смыслом.

Проснувшись укутанной домашними запахами, Женя отправилась в школу, как и решили.

В кабинете директора она пару раз бывала, школа маленькая. Кабинет — одно название, тут же книги — библиотека.

— Здравствуйте, Аделия Францевна.

— Женя, хочешь учиться?

— Выучилась уже...

Директор тоже выдержала паузу.

— Нам нужна учительница. Русский язык и литература, готова?

— А, как?

— Не обещаю, конечно, но попробую. Если готова....

— Да, я готова.